

Лев Николаевич

Толстой

Холстомер

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1936

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 26–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 26-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYU, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYU FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

1887 г.

Портрет работы И. Е. Репина.

ХОЛСТОМЕР.

История лошади.

Посвящается памяти М. А. Стаховича.

[1]

Глава I.

Всё выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

– Ноо! успеешь! проголодались! – сказал старый табунщик, отворяя

скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им всё равно, и не торопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

– Ноо! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

– Балуй! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он всё-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщицкой посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность итти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй,

пущай наперед матки пройдут» и т. д.

Ворота заскрипели, Васька сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить, молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула; но всё-таки не посмела забежать вперед серой, старой осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок, печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что, рано поутру с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного, досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел по середине дороги.

Глава II.

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. –

Любит, старый пес! – проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахывая вылезшим хвостом и принухиваясь к чему-то, и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделявали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стрыгунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложнее и просторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким, пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ногой, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого – не менее 2-х аршин 3-х вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен; одно на голове с кривой, с боку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота, третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной, шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клочок еще длинный от чолки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы

связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стертые на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка, черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, в роде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. —

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, и тонкую шкуру и волос. — Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посередине росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фыркание, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна.

Глава III.

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извилах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца, и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по низу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался

в одном направлении. И опять – старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность итти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который дрожа коленами ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая чолка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, – щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами чолкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржат отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком в повалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, всё еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полу-рысью, полу-тропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположеньи в это утро. Веселый стих нашел на нее, так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с

сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржаньи. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначущее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издали донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее возжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела закончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи, больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV.

Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало-быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. – Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.... Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было всё

впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он всё-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный 3 года тому назад за 80 рубли ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось и он начал есть. Снова шалунья, сопровождаемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя, лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, – бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадей, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно-фантастическое для лошадей зрелище, только на варке

произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади – молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

.....
.....
.....

Глава V.

По середине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

.....
.....
.....

ночь 1-я.

– Да, я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й. Я Мужик 1-й по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам Граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебеда.

.....

.....
.....

Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью стоял на ногах. Помню, что мне всё чего-то хотелось и всё мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые всё видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом, – то ей под передние ноги, то под коягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку, он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь чертенюк, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

– Вишь какой шустрый, – говорил конюх, – не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

– И в кого такая уродина, – сказал он, – генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, – обратился он к моей матери. – Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

– И в какого чорта он уродился, точно мужик, – продолжал он, – в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, – говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, усталый

свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резв, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком – милой, веселой и резвой лошадкой; но не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок – и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, – но дверь была заперта, и я только слышал всё удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И всё оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами – и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцей и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие,

и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне всё прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на всё, что бы я ни сделал. Это продолжалось не долго. Тут скоро случилось со мной ужасное. – Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. – Заскрыпели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик opravил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI.

ночь 2-я.

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

– В августе месяце нас разлучили с матерью, – продолжал пегий, – и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, – но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по-двое и по-трое – и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил Император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с гляцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и как струнки ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во всё время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня..... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя событие завтрашнего дня.

На утро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а

жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что всё исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне всё было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издали еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной – все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно по старой памяти заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, – но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им видимо и гадко, и жалко, и совестно, и главное – смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую – невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), – на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцей, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг всё понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми – теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему

случаю.

Это было зимой во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

– Кабы не этот коростовой, – сказал он, – ничего бы не было.

– А что? – спросил другой конюх.

– Небось графских не ходит проведывать, а своего жеребенка по два раза в день наведывает.

– Разве отдали ему пегого-то? – спросил другой.

– Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори – ничего, а вот как смел его жеребенку корму не дать. Ложись, говорит, и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: своего, его жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какую-нибудь прямую выгоду; но это оказалось

несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и всё отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же делом. И вот это право говорить обо мне моя лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызвала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным меринком, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по 3-му году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвинили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганьи рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам Генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Всё это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое вообразил себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребёночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII.

ночь 3-я.

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего по середине двора. Лошади толпились около него.

– Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего, – продолжал пегий, – было то, что то, что составляет главную заслугу нашу – резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебеда, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он всё-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздну, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что померять моего Пегаша?» крикнул он, и когда Лебедь поровнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал ровняться, обходить и обошел. Попытали другой раз – то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. – Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф – и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Всё это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне – труд, унижения, унижения, труд и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадью.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай, и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание; потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. – К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII.

ночь 4-я.

Вечером, когда ворота затворили и всё затихло, пегий продолжал так:

– Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за 800 р. продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутиливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу прямую как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. – За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубаше и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животное, забыла!» и толкнет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и бывало серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется убьет – нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали чолку и гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышевые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время – филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «пушай!». И играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой чолкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит чуть оборачивая красивую голову и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, всё шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры

кричать: «0!» как будто у кучера болит что нибудь, а не понятное: «Пади берегись!». – Пади берегись! – покрикивает Феофан, и народ сторонится и останавливается и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, ровняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, ровняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя всё удаляющиеся его звуки. А князь и Феофан и я мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадают на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота и послышались голоса Нестера и Васьки.

ночь 5-я.

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю.

– Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце 2-й зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. – Это было на маслянице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

– Нет, – говорил он, – это не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа, – расстегнул полость, сел.

– На Стожинку. – Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валяй». И свиснул кнут и резнул меня, и я поскакал,

ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и на век перестал быть той лошадью, какую я был. Я болел, меня мучали и калечили – лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того барышник мучал меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирали рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездил она всё к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX.

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные – молодежь – переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

– Вот эту я у Воейкова купил – серую в яблоках, – говорил хозяин.

– А эта молодая вороная белоножка чья – хороша, – говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

– Это от верховых хреновских осталась у меня порода, – сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера; и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцей выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что, видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

– Вот лучше этой кобылы – я смело могу сказать, нет лошади в России, – сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

– Да, да, – говорил он рассеянно.

– Ты взгляни, – говорил хозяин, не отвечая, – ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

– Хорошо едет? – сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей и показывать больше нечего было. И они замолчали.

– Ну что ж – пойдем?

– Пойдем. – Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

– Вот росписной-то! – сказал он. – Такой-то у меня был пегий, помнишь я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме

было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных 10-ти летних сигар, каких ни у кого не было по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет 25-ти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III и мышинные хвостики были напояжены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей великолепный в своем фраке и белом жилете и галстук, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу в цветах стояло фортепьяно *incrusté*.

[2] От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Всё было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился видимо физически и морально и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, т. е. хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же собственно он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

– Что вам ничего сигары, Мари, – сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном – вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он скорее хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

– Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

– Спасибо. – Он достал сигарочницу. – Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним.

– Я очень люблю сигары. – Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

– Нет, ты возьми эту, – продолжал не чуткий хозяин. – Другие те

послабее. Фриц, bringen sie noch eine Kasten, – сказал он, – dort zwei.

[3]

Немец лакей принес другой ящик.

– Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, – продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

– Так во сколько тебе пришелся Атласный? – сказал он.

– Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но по крайней мере уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу.

– Едут? – спросил Серпуховской.

– Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с Воейковским Вороным. Каналья наездник сбил 4 сбая, а то бы за флагом оставил.

– Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу, – сказал Серпуховской.

– Ну а матки–то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал 3 тысячи. Ласковую 2 тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. – Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

– Будете еще чай пить? – спросила она.

– Не буду, – сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры – лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI.

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

– Да, ты говорил у Воейкова купил, – сказал Серпуховской, как будто небрежно.

– Да – Атласного, ведь я говорил. Мне всё хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

– Он прогорел, – сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему 20 тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж верно про него говорят это. – Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж когда выпить?» думал Серпуховской. «Неприменно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», думал хозяин.

– Так как же ты долго здесь пробудешь? – сказал Серпуховской.

– Да еще с месяц. Что ж поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. – Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской покраснелся и стал говорить не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

– Ну что ж, ты оставил Матье? – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

– Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублей, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя – хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя – про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

– Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... – начал было он. Но Серпуховской перебил его.

– Было время, могу сказать, – начал он, – что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

– Да, да, – сказал он. – Ведь это у вас у заводчиков только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была. Ты не мог знать; это было в 42-м году, я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу – пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? 1000 рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был, тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

– Да, я слышал, – неохотно сказал хозяин, – но я хотел тебе сказать про своих...

– Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного 1-го, Холстомер. Холсты меряет. Его за пегину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты молодость! – пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. – Эх, хорошее было время. Мне было 25 лет, у меня было 80 тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, всё удается, и всё кончилось.

– Ну тогда не было той резвости, – сказал хозяин, пользуясь перерывом. – Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без.....

– Твои лошади! Да тогда резвее были.

– Как резвее?

– Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. – Серпуховской, когда, – говорят, – ты заведешь рысистых? – Мужиков-то ваших, чорт их возьми, у меня извозчикий пегий всех ваших обежит. – Да вот не обегает. – Пари 1000 рублей. – Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, 1000 рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке 100 верст в 3 часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они всё сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

– Спать – так спать, – сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и

отдуваясь пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

– Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

– И за мной ухаживает.

– Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, – подумал он. – Ну всё равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, – сказал он сам себе и захохотал. – То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит – я у неё деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! – Однако раздеться, сапоги не снимешь».

– Эй! Эй! – крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII.

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадей. Они лизались. Утром он пошел в табун и всё чесался.

«Что-то больно чешется», думал он.

Прошло 5 дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

– Короста. Позвольте цыганам продать.

– Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: – Не к чему.

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить [о] брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, – подумал он. – Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову – никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось всё тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Всё так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

– Тоже лошадь была, – сказал Васька.

– Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч.

—

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

—

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. – Волчята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев,

натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила всё маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два маслака, остальное всё было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но всё-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на 4-х углах, потом положить этот новый гроб в другой свинцовый и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниущее, кишашее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать всё землю.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ

ВАРИАНТЫ К «ХОЛСТОМЕРУ».

*№ 1.

<сь уходящаго Васьки, пошелъ къ дому. Проходя мимо господскаго манежа, онъ[4] остановился, долго смотрѣлъ на вычурный уже состарѣвшійся расписной фронтонъ, который онъ видѣлъ уже болѣе 30 лѣтъ, потомъ снялъ шляпу, почесалъ голову, опять надѣлъ шляпу, покачалъ головой и усы и борода раздвинулись отъ недоумѣвающей не то укоризненной, не то насмѣшливой улыбки. Чудно! и онъ еще засмѣялся и еще покачалъ головой, при чемъ шляпа попала на мѣсто.

Между тѣмъ> все выше и выше поднималось небо.

*№ 2.

<На варкѣ же, какъ только спустили его съ оброти, онъ прошелъ подальше отъ толпы молодежи по за столбами въ свой привычный уголь и отставивъ ногу опустилъ голову.

– Что, взялъ, старая дрянь, сволочь, – заговорили кобылки. – Тоже кусаться, мужикъ сиволапый, Богъ знаетъ откуда взять, родился отъ мужички изъ сохи и гдѣ нибудь на задворкѣ и меня, Сметанкину правнучку смѣть... Скотина! – Меринъ не отвѣчалъ и только переставилъ ногу. – И мать то его свинья какая нибудь была, а не лошадь и отецъ не одинъ можетъ быть.....

– Нѣтъ! это слишкомъ, – вдругъ вскричалъ пѣгой. – Я не хотѣлъ говорить, но ежели ужъ вы семейство мое хотите позорить, я долженъ говорить, я не могу молчать...

Кобылки засмѣялись было.

– Смотри, смотри, какъ расходился.

– Молчать!! – крикнулъ пѣгой, величественно вскинувъ голову и отдѣливъ хвостъ. – Съ кѣмъ вы говорите, дрянь. Вы сволочь! Кто я, вы хотите знать?

– Да.

– Такъ знайте же.

Кобылки притихли. Что-то было повелительное и величавое въ звукахъ и движеньяхъ старика.

– Кто тотъ, на комъ возять воду и загоняють васъ, кто тотъ, у кого нѣтъ цѣлаго мѣста на спинѣ, уши прорваны, копыты обиты, ноги поломаны, кто тотъ, у кого нѣтъ ни друга, ни защитника, ни между вами, ни между [людьми], кто тотъ, чья участь хуже участи собаки, кто посмѣшище и чучела для всякой дѣвчонки? Кто я? – Да я былъ лошадь, я былъ силенъ, былъ счастливъ и любимъ.

– Да кто же ты? что такъ кричишь, шута изъ себя дѣлаешь? – проговорила приподнимая голову старая жеребая кобыла, улегшаяся на солому.

– Шута? Да. – Все больше и больше разгораясь прокричалъ меринъ. – Кто я? – Онъ долго помолчалъ и на варкѣ все затихло. – Я Хлостомѣрь, – проговорилъ онъ внятнымъ и Мочаловскимъ шопотомъ.

<Аа! Аа! О! – слышалось со всѣхъ сторонъ и> Со всѣхъ сторонъ зашевелилось по солому и головы столпились подъ навѣсомъ около стараго мерина.

– Да, я Хлостомѣрь, друзья мои! – повторилъ меринъ тронутый и

смягченный [5] выраженьем удивленія и раскаянья, отразившагося на всемъ табунѣ и всемъ сообщившагося. – Да, я знаменитый пѣгой, сынъ Добраго 1-го и Телки, – сказала [онъ], – я любимецъ Его, я тотъ, котораго отыскиваютъ и не находятъ охотники. – Хотя и было въ тонѣ и словахъ мерина такая сила убѣжденія, что невольно толпа съ перваго мгновенія повѣрила ему, но во вторую за тѣмъ минуту явилась тѣнь сомнѣнія и многія оглянулись на старую, съ обсыпанной гречкой головой, старую Вязопуршу, дочь Добраго 2-го, <слѣдовательно кузину Хлостомѣра>, которая медленно волоча ноги, услыжавъ общее движеніе <и слова [6] Хлостомѣра>, подходила къ нему.

– Ты Хлостомѣръ, – проговорила она дрожащимъ голосомъ. – Боже! И какъ я любила тебя и какъ ты хорошъ былъ. Да это онъ. Но ужасно!

– И ты какъ перемѣнилась, – сказала Х[лостомѣръ], – я не хотѣлъ открываться, зачѣмъ будить сладкія, невозвратимыя воспоминанія. Я любилъ тебя. – Они ближе подошли другъ къ другу и перегнувъ шеи другъ за друга долго чесали холки и въ глазахъ у нихъ были слезы. [7] Остальные молчали. Когда прошла первая радость и испугъ свиданья, Вязопурша подняла голову и спросила, какъ спрашиваютъ кобылы, чтобы онъ разскажалъ ей все, что дѣлалъ съ тѣхъ поръ, какъ они не видѣлись.

– Цѣлая жизнь не разсказывается въ двухъ словахъ, – грустно улыбаясь отвѣчалъ Хлостомѣръ, – но мнѣ спать не хочется и я разскажу тебѣ въ общихъ чертахъ.....

– Нѣтъ, все, все разскажи, – отвѣчала она.

– Все, все разскажите, – подхватили молодые голоса.

Хлостомѣръ помоталъ головой какъ будто припоминая, подвинулся къ навѣсу такъ, чтобы всемъ были слышны его слова, и началъ. Молодежь молча и тихо толпилась около него, кладя другъ другу шеи на спины. Вязопурша, самая старая изъ кобылъ, еще изъ Хрѣноваго, подошла, положила голову на шею мерина, почесала его, тяжело вздохнувъ легла подлѣ на свѣжую солому. Было темно. Мѣсячный свѣтъ только виднѣлся изъ-за навѣса, самага мѣсяца не видно было, роса была опять свѣжая и ложилась на солому двора и серебрила воздухъ. Подъ навѣсомъ тѣни были черны. За дворомъ постукивалъ караульщикъ и лаяли собаки. Изрѣдко шевелились ноги по соломѣ и стучали копыты о стѣны. Все было тихо и меринъ разсказывалъ.

Вечеръ 1-й.

– Я родился въ Хрѣновомъ, – началъ Хлостомѣръ. – Отца своего я не зналъ, какъ и все благородныя лошади. Только впоследствии мать говорила мнѣ про него, когда ее водили къ нему. Она говаривала, что это былъ Богъ Аполлонъ и она весной всегда бывала влюблена въ него. Мать моя Телка была первая красавица всего Хрѣноваго. Она была еще

молода. Старшему брату было 4 года и онъ не имѣлъ цѣну. Я разъ только видѣлъ его. Онъ возвращался съ наѣздникомъ съ проѣздки, когда мы возвращались съ поля. Всѣ кобылы заржали и даже мать, не зная, что это былъ ея сынъ. Онъ былъ гнѣдой и хорошъ, какъ[8] ясный день.

Самъ Графъ былъ тутъ. Съ нимъ были человекъ 5 охотниковъ. Онъ указаль на меня и сказалъ: – Вонъ тотъ пѣгашка его братъ. – Хорошъ! – сказалъ кто-то. – Пѣгой, – сказалъ другой. Я не понялъ его.

Онъ былъ отъ другаго гнѣдаго отца, а я отъ сѣраго и потому вышелъ пѣгой. Пѣжина составила всю мою участь и счастье и несчастье.

*№ 2-а.

<Ему не дали покоя и тутъ. Началась такая возня, что Конюшій сказалъ табунщику и табунщикъ пришель на дворъ и разогналь всѣхъ. Меринъ былъ избить и искусанъ. Онъ легъ. Всѣ столпились вокругъ него.

Все затихло. Онъ тяжело вздыхаль и пошевеливаль ушами. Всѣ вокругъ него точно слушали, точно удивились всѣ чему-то и зашевелились по соломя.>

*№ 3.

Все затихло, только слышались вздохи и переставленіе ногъ по свѣжей соломя. Меринъ молча поводиль прорванными черными губами
.
.
.

– Да, друзья мои, говорилъ пѣгой меринъ, я, какимъ вы меня видите, опоеннымъ, кривобокимъ, безъ цѣлаго мѣста на тѣлѣ, безъ хвоста и гривы, подъ сѣдломъ табунщика, водовозъ – я не то, что думаютъ обо мнѣ эти люди и что вы думали, я Хлыстомѣрь.

*№ 4.

Что значили слова: моя лошадь? Я понимаю, что значить: моя нога, моя голова, мой хвостъ; но почему же моя лошадь? Ежели бы это значило то, что тотъ, кто меня называетъ своимъ, тотъ и кормить меня, я бы понялъ, – но <кормили меня различные люди>, кормиль меня конюхъ, не называвшій меня своимъ. Ежели бы это значило, что бьетъ меня тотъ, кто называетъ своимъ, я бы понялъ; но и били меня различные люди.

*№5.

Въ этомъ заключается главная страсть людей, и для того, чтобы говорить про какую либо вещь – мое, они готовы всѣмъ пожертвовать.

*№ 6.

Я провель ужасную ночь. Я передумаль[9] много въ эти 12 часовъ; но за это время навсегда рѣшились судьба и направленіе моей жизни. Всѣ радости жизни навсегда были потеряны; но несмотря на то я жилъ, и долженъ былъ долго жить, я это чувствовалъ.

*№ 7.

Государь говорить: Государство мое; но Государство это не содѣйствуетъ нисколько Его личному благосостоянію. Онъ не имѣеть вслѣдствіе этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образованія, ни главнаго, что дороже всего каждому животному, – ни больше досуга.

*№ 8.

Люди подлежатъ желанію называть вещи – мое, а мы свободны отъ[10] низкаго инстинкта. Прежде отыскивая эту истину, я спрашивалъ себя: не означаетъ ли – мое какой нибудь прямой и существенной выгоды права или силы или обязанности для человѣка?

*№ 9.

Первое, моя пѣгая шерсть, сдѣлавшая меня въ глазахъ людей какимъ-то выродкомъ, несмотря на мою красоту и силу моего тѣла. Второе, измѣна и непостоянство моей матери; и третье, приобрѣтеніемъ права конюшева между людьми называть меня своимъ жеребенкомъ.

*№ 10.

Что мнѣ было дѣлать? Какъ провести эту жизнь? Какъ заглушить въ себѣ[11] сознаніе того исключительно несчастнаго положенія, въ которомъ я находился? Какъ въ этомъ, такъ и во многихъ другихъ случаяхъ есть только одно спасеніе для лошади. Это спасеніе есть трудъ. Вѣчный, непрестанный трудъ съ сознаніемъ того, что трудъ этотъ не приноситъ никакой пользы для себя и едва ли другимъ приноситъ какую либо пользу. Но какъ было трудиться стоя въ денникѣ? Никто не запрягалъ меня, а я готовъ бы былъ возить воду, ходить по колесу на рушалкѣ. Ожидая этаго времени, я сталъ оказывать усердіе при каждомъ удобномъ случаѣ. Я сталъ ѣсть, пить и спать, приготовляя себя къ труду. И скоро признаки моего усердія увѣнчались успѣхомъ.

*№ 11.

Одинъ разъ ѣздили Лебеда. Ген[ераль] смотрѣлъ на часы. Лебедь[12] была самая рѣзвая лошадь того времени. Онъ былъ хорошъ, гордъ, благородень, [13] а я бѣжалъ шибче его, но никто не обращалъ на меня вниманія и не мѣрилъ моихъ шаговъ.

*№ 12.

Удивительное дѣло, – продолжалъ Холстомѣрь въ[14] этотъ вечеръ. Я

пришелъ въ своемъ разказѣ къ тому лучшему времени жизни, которое выпало мнѣ во время моихъ скитаній.[15] И это время я провелъ именно у этого толстаго, стараго, обрюзгшаго человѣка, котораго вы сейчасъ видѣли. Онъ не узналъ меня. Онъ человѣкъ, но я узналъ его, потому что любилъ его. Да, я любилъ его. Мы оба были не такіе, какъ теперь.

*№ 13.

Фамилія[16] его князь Серпуховской. Онъ былъ богачъ, красавецъ и счастливецъ. Онъ гдѣ-то числился на службѣ, носилъ гусарскій мундиръ и жилъ въ Москвѣ.

*№ 14.

Конюшій же долженъ былъ продать меня за то, что разъ неосторожно пустилъ меня при Генералѣ поравняться съ Лебедемъ, я объѣхалъ Лебедя. Конюшій боялся гнѣва Графа и сбывъ меня.

*№ 15.

Молодецъ и красавецъ. Всѣ горничныя были[17] безъ ума отъ него, даже одна барыня любила его. Денегъ у него всегда было въ волю. Гусаръ съ выигрыша давали ему по 50 р. на чай (тогда считали на ассигнаціи). Все удавалось и барину и кучеру. Бывало поѣдетъ <гусаръ> въ театръ, мѣсть нѣтъ, а его пустятъ, увидятъ женщину,[18] кажется невозможно, а поѣдетъ день, другой и она его. Денегъ нѣтъ, овса купить не на что, получить долгъ или деньги изъ деревни или выиграетъ, и опять дѣвать некуда. И кучеръ былъ такой же, все рисковалъ и все удавалось. Не пускаютъ на гулянья одиночку, тронетъ возжами, жандармъ посторонится, и летитъ мимо квартальныхъ посерединѣ рядовъ. Кажется невозможно проскользнуть мимо экипажа, летитъ во весь махъ, проскользнетъ на волосокъ, а проскочить.

*№ 16.

Разъ въ трактирѣ 4-хъ купцовъ одинъ перебилъ и ничего не было. Напьется, баринъ никуда не ѣдетъ. А въ любви такъ счастливъ былъ, что даже гадко было смотрѣть на него. И несмотря на счастье этихъ людей и на то, что мнѣ тяжело было у нихъ

*№ 17.

Утро обыкновенно онъ каталъ то самаго Князя, то какую нибудь изъ его любовницъ. Никогда[19] меня не били кнутомъ. Къ вечеру Князь объѣдалъ, потомъ перепрягали, иногда и самъ Х[олстомѣръ] возилъ въ театръ и оттуда въ клубъ, къ цыганамъ и на цѣлую ночь. – Одинъ разъ Князь поѣхалъ на бѣгъ, вошелъ въ бесѣдку къ пріятелямъ. Бѣжали лошади знакомыя:[20] вороной Атласный[21] и Молодецкій. Они пробѣжали.[22] Атласный пришелъ къ[23] столбу.[24] Князь сталъ смѣяться, что въ[25] такія секунды[26] его пѣгашка[27] придетъ.[28]

– Пари 1000 рублей.

– Идетъ.

Пустили[29] меня съ[30] Атласнымъ. Понеслись.[31] Я безъ поддужнаго, [32] онъ съ поддужнымъ.[33] Въ заворотъ я его кинулъ; хохоть и громъ рукоплесканій. Меня стали проваживать. Я хожу поматываю головой и хвостомъ. Сошли смотрѣть. Все гадкія рожи, покупать. Князь не продалъ.[34] Я былъ радъ, но можетъ быть я бы не погибъ такъ рано, если бы онъ продалъ меня. – Скоро послѣ этого меня погубили и я сталъ тѣмъ одромъ, котораго вы знаете.

Тутъ все продали и я попалъ къ М. И. Яковлевой, къ Ник[олѣ] Явлен[ному].

Уже стало разсвѣтать, табунъ выгнали. Лошади стали шалить. Сначала посмѣялись между собой, потомъ стали задирать. Не было силы и красоты, такъ чтожь, что она была. Такъ у лошадей. Въ этотъ вечеръ встрѣтили хозяина. Однако вечеромъ собрались слушать. – Вы видѣли его. Такъ то и со мной. Старушка была набожна. Мы, лошади, считаемъ, что въ старости одно утѣшенье, знать, что я отжилъ, что я никуда не годень и пора мнѣ на покой въ другую жизнь, а у нихъ и воздухъ, поручи, свѣчи, монахи. Она сѣкла кучера. Мы, бывало, часто говорили съ нимъ. Лучше бы меньше попамъ давала, а людей бы жалѣла, я соглашался съ нимъ. – Сынъ ея просиль. Она не дала и послала меня въ деревню. Тамъ объѣлся. У меня въ коридорѣ сѣкли стариковъ иногда. Все пошло хуже и хуже, былъ я у краснорядца, былъ на почтѣ, на кругу. Сначала я попалъ на почту. Тутъ... но ворота заскрипѣли, вошелъ Васька и погналъ даже галопомъ – въ кабакъ. Тамъ лизались.

.....
.....
.....

В[аська], Н[естерь] были позваны къ барину. Какже могла быть короста. Коноваль тутъ. Ободрать.

На другой день пришли съ страшнымъ челоѡкомъ.[35] Но было поздно. Онъ умеръ своей смертью. Табунъ проходя шарахнулся и полетѣлъ.

*№ 18.

Да, лучшее время своей жизни я провелъ у Серпуховского и онъ провелъ лучшее время своей жизни тогда, когда былъ со мной. <Я любилъ его и нельзя было не любить его>. Тотъ обрюзглый старикъ, который сейчасъ поддакивалъ вашему хозяину и лъстилъ ему, это былъ онъ, тотъ самый мой бывшій хозяинъ–красавецъ, счастливецъ, который никого не любилъ и котораго всѣ любили. Онъ не узналъ меня, потому что онъ челоѡкъ, но я тотчасъ же узналъ его..... не его, а его трупъ, движущійся и ходящій на ногахъ. Не тотъ онъ былъ, когда 20 лѣтъ тому назадъ онъ

поѣхаль со мной на бѣгъ и смѣясь сталь говорить, что онъ на Пѣгашѣ на своемъ обѣдетъ Атласнаго и пустиль меня. Это было послѣднее блестящее наше время.

*№ 19.

Но гость не слушаль.

– Откуда у тебя эта лошадь? – повторяль гость перемѣнившимся голосомъ.

Хозяинъ оглянулся.

– Какая?

Онъ съ удивленіемъ замѣтиль, что гость его съ измѣнившимся лицомъ смотрѣль на пѣгаго мерина, на которомъ ѣхаль табунщикъ, и гладиль рукою его костлявую голову.

– Да что ты? Этотъ одеръ–то? Да ну, табунная лошадь какая то!

– [36]Нѣтъ, ей Богу, ну двѣ капли воды мой пѣгой. Ну двѣ капли воды мой Хлыстомѣръ, съ которымъ я въ 30–хъ годахъ видѣль столько горя и радости. – И онъ ласкаль его рукой. Хлыстомѣръ вѣроятно узналь стараго хозяина, онъ закрыль лѣвый глазъ, глядѣль однимъ правымъ и на правомъ глазу вѣка его нервически дрожала. Табунъ отдалился въ это время. Отъ того ли, что онъ отдалился, или оттого, что Хлыстомѣръ узналь хозяина, но онъ попробоваль заржать, чего онъ уже давно не дѣлаль.

– Видишь, узналь! Постарѣли мы съ тобой, Хлыстомѣрушка! – грустно сказаль гость и, шлепнувъ его большой рукой по крупу, пошелъ съ хозяиномъ разсматривать другихъ лошадей.

*№ 20.

но гость не слушаль. Онъ смотрѣль на пѣгаго подѣ табунщикомъ.

– Да, да, – говорилъ онъ разсѣянно. – Откуда у тебя пѣгашъ этотъ?

– Ты взгляни, – говорилъ хозяинъ, не отвѣчая, – ноги взгляни, струна...

– Да, да. Откуда у тебя пѣгашъ этотъ? – повториль гость. – Хозяинъ оглянулся.

– Этотъ одеръ–то? Купили гдѣ то на ярмонкѣ.

– Помниль, я тебѣ говорилъ, – сказаль гость, – про своего знаменитаго Холстомѣра, – ну двѣ капли воды, пѣжины такія же. Охъ, лошадь же была.

Холстомѣрь вѣроятно не узналъ стараго хозяина.

*№ 21.

Можетъ быть такіе[37] люди непріятны бываютъ, но[38] этотъ человѣкъ, сидѣвшій за чайнымъ столомъ, такъ очевидно былъ счастливъ и[39] доволенъ своимъ счастьемъ, что сердце радовалось глядя на него, <несмотря на то, что у[40] него была французская бородка съ хвостиками, а у[41] нея такъ много ненужныхъ и некрасивыхъ брильянтовъ.>

*№ 22.

Онъ былъ одѣтъ въ военную шинель[42] мундира коннозаводства. Военный пальто былъ все таки такой, какого бы никто себѣ не сдѣлалъ, кромѣ богача, бѣлье тоже. Часы были тоже англійскіе. Сапоги на какихъ-то чудныхъ въ палець толщины подошвахъ, очень можетъ удобныхъ для ходьбы по лондонской мостовой, но не для <мягкихъ> устеленныхъ листьями дорогъ русской деревни. Но ужъ, видно, такъ надо было.

*№ 23.

и добрые отъ счастья, особенно ухаживали за бѣднымъ Никитой. Видъ счастья его друга и молодой еще болѣе заставлялъ его обратившись къ своему прошедшему пасть духомъ.

*№ 24.

Онъ досталъ свою сигарочницу.— У меня есть очень хорошія, попробуй моихъ; и въ глазахъ его мелькнулъ опять страхъ и безпокойство: не подумалъ бы его юноша пріятель, что у него нѣтъ хорошихъ сигаръ.

Мари поторопилась отвернуться. Ей ужасно жалко было его. Она знала его еще во всемъ блескѣ и ежели бы только онъ захотѣлъ, могла быть и его.

— Нисколько. Вы смѣтаете надо мной, — сказала она и улыбнулась своей красивой доброй улыбкой.

*№ 25.

Хозяинъ рассказывалъ, наивно и добродушно хвастаясь своимъ богатствомъ и не замѣчая, какъ больно это было его гостю.

*№ 26.

— Онъ прогорѣлъ, — сказалъ Серпуховской и опять испуганно посмотрѣлъ кругомъ. Онъ проигралъ Никитѣ 120 тысячъ. — Что ты не играешь? — Нѣтъ. — Абаза чертовски играетъ теперь американскіе, знаешь? — Нѣтъ. Онъ рассказаль ему. — Я ужъ не играю. Такое несчастье, не можешь себѣ представить! — Онъ замолкъ. Жена ушла. Онъ оглянулся. — Что жъ

ты долго? – Да вот до бѣговъ самъ поведу, а потомъ за границу. – Будешь ужинать? – Какъ вы? – Мы ужинаемъ, только надо раньше. Фриць. Накрыль столъ. Тоже съ штуками. Сифоны, куколки на пробкахъ. Она не вышла, хозяйинъ все выбѣгалъ къ ней. – Нездоровится, знаешь, она беременна... За ужиномъ Серпуховской выпилъ много кромѣ водки передъ ужиномъ. – Давай выпьемъ бутылочку.

*№ 27.

Онъ помолчалъ. Славный малый! – подумалъ хозяйинъ и подлил ему вина. У Серпуховскаго были слезы какъ будто. Онъ видимо разсердился на себя, выпилъ. – Ну какой же рѣзвѣ всѣхъ у тебя ѣдетъ? Нечего дѣлать было, хоть и не хотѣлъ онъ отвѣта, а надо было отвѣчать. Хозяйинъ отвѣтилъ. – Изъ молодыхъ кобыль вчера проѣзжали безъ 5 секундъ. – Хорошо, только двѣ лошади бѣжали рѣзвѣ. Д[обрый] и Полканъ. – Нѣтъ, братъ, не двѣ, а рѣзвѣ Полкана и Добраго бѣжала моя лошадь, Хлыстомѣръ. Ты его не знавалъ у меня. Да что, ты былъ мальчишка. Хлыстомѣръ у меня былъ.

*№ 28.

– Обѣжить, вонъ у меня пѣгой заложень, я для рѣдкости у барышника купилъ, давайте кто хочетъ пари? Я предлагаю 1000 р. – Ну полно врать. – Я говорю пари, – сказала С[ерпуховской] тѣмъ тономъ увѣренности, силы и чистоты, которымъ онъ вѣрно говаривалъ въ старину. – Съ кѣмъ хотятъ бѣгу. Вызвались Воейковъ и Сип., назначили день, приѣхали на бѣгу. Пустили Лебеда и моего. – Пять секундъ раньше пришелъ, 1000 р. выигралъ пари. Покупали у меня, не продалъ. – Точно такой, какъ твой пѣгой. Ушелъ спать одинъ и долго вспоминалъ ночь проигрыша и молодость и любовь.

Страница черновой рукописи 1885 г. «Холстомера». (Размер подлинника).

Теперь умирать, хоть бы пришелъ ктонибудь. – Надо занять или поиграть или соблазнить ее. Ахъ я подлець! Подлець! вспомнилъ Шев. треплящимъ по плечу. Онъ зашелъ къ нему у него просить денегъ, и говорить: я подлець. – На другой день онъ уѣхалъ, денегъ было мало въ кошелекъ на столѣ.

*№ 29.

Серпуховской ходилъ взадъ и впередъ. Я подлець – застрѣлиться, нѣтъ. Водки.

*№ 30.

Позвольте цыганамъ продать. – Нѣтъ, собакамъ рѣжутъ же. Зарѣжьте. Утро тихое, ясное. Табунъ пошелъ въ полѣ. Хлыстомѣрь остался, пришелъ страшный человекъ, повелъ его. Зарѣзали. Собаки рвутъ, кобель особенно. Лошади шарахаются.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Хозяинъ сказалъ женѣ: – Можешь себѣ представить, Серпуховской пьеть запоемъ водку и болѣнь такъ, что ему, говорятъ, не долго жить.

Комментарии Б. М. Эйхенбаума [43]

ХОЛСТОМЕР.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ.

Еще 31 мая 1856 г., скоро после окончания «Двух гусар», Толстой записал в Дневнике: «Хочется писать историю лошади». Замысел этот возник тогда у Толстого, вероятно, под влиянием знакомства с А. А. Стаховичем, владельцем большого конного завода в Орловской губернии и основателем Петербургского бегового общества. Стахович вспоминает: «Еще в начале пятидесятых годов я заинтересовался рассказами старых коннозаводчиков о необыкновенной резвости «Холстомера», пробежавшего 200 сажень в 30 секунд, еще в начале восьмисотых годов в Москве на Шабловскомском бегу графа А. Г. Орлова-Чесменского. По смерти графа управляющий конным заводом, немец-берейтор графини А. А. Орловой, – вылегчил и продал вороного «Холстомера» за большие отметины и огромную лысину. Лошади с именем «Холстомера» никогда не было в Хреновой. После долгих изысканий мне удалось установить, что «Холстомер» была кличка, данная гр. Орловым за длинный и просторный ход (словно холсты меряет), вор. «Мужику 1-му», родивш. в Хреновском заводе в 1803 году от «Любезного 1-го» и «Бабы», выхолощенному в 1812 году». («Литературный вестник» 1903 г., т. VI, кн. 7–8, стр. 255.)

Историей Холстомера заинтересовался брат А. А. Стаховича, писатель М. А. Стахович (сотрудник «Москвитянина», автор пьесы «Ночное» и комедии «Наездники»). Он собирался написать повесть – «Похождения

пегого мерина». Как вспоминает А. А. Стахович, план этой повести был следующий: «как покупает «Холстомера» на Хреновском аукционе богач московский купец (тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников резвых орловских мерин, за которых плачивали они «большие тысячи»); потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил «Холстомер» и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу–разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью – к сельскому попу, потом в борону мужика, и умирает под табунщиком».

М. Стахович не успел написать эту повесть: в 1858 г. он был убит своими крестьянами.

Судя по приведенной записи в Дневнике, Толстой в 1856 г. собирался написать нечто аналогичное. К этому году или к ближайшему относится, вероятно, и воспоминание И. С. Тургенева – о том, как Толстой гулял с ним по выгону и, остановившись перед старым мерин, стал рассказывать, что думает и чувствует эта лошадь: «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадей». Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади». («Исторический вестник» 1890 г., №2, стр. 276. Ср. «Исторический вестник» 1911 г., № 3, стр. 861.) Возможно, что Толстой слышал про историю Холстомера от М. А. Стаховича. Надо, впрочем, сказать, что такого рода сюжеты были тогда, повидимому, довольно распространенными (ср. аналогичную историю лошади в очерке А. Башуцкого «Водовоз» – см. в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы», Лнгр. 1931). Во всяком случае возврат к этому замыслу произошел после разговора Толстого с А. А. Стаховичем, уже после смерти М. А. Стаховича. «В 1859 или 1860 году (вспоминает А. Стахович) ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа».

Неизвестно точно, в какой момент взялся Толстой за писание «Холстомера». 3 марта 1863 г. в Дневнике записано: «Мерин не пишется, фальшиво. А изменить не умею». Затем следует рассуждение о том, что люди делают всё по требованиям природы, после чего опять о рассказе: «В Мерине всё нейдет, кроме сцены с кучером сеченным и бега». Известно, что в это же время Толстой деятельно занимался хозяйством и собирался строить винокуренный завод (ср. в его письме к М. Н. Толстой от 8 марта 1863 г.: «Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканью ребенка в утробе Сони, пишу роман и повесть и приготавливаю к постройке винокуренного завода»). Документом, отражающим в себе оба дела – писание «Холстомера» и постройку винокурни, является сохранившийся среди рукописей лист бумаги с конспектом повести и с двумя чертежами: планом винокурни и планом конюшни (см. в описании рукописей, № 5–6)

Приводим здесь конспект повести:

КОНСПЕКТЪ.

Пѣгой. Посѣщеніе хозяина. Несправедливость. Любовьность и притворство матери. Случка. Дружба съ Вязопурихой.

Вторая

1-я и послѣдняя любовь. Всѣ меня любятъ. Счастье. Чуть было. Ночь послѣ этого. Мечты на завтра.

3.

Меринь. Внутренняя работа, насмѣшки. Трудъ. – Ызда по городу. Счастливые жестоки. Любовники катаются. Несчастные кротки. Пьяный сѣченый кучерь. Слезы солонь. –

4.

Встрѣча съ родными у подѣздовъ, въ театрѣ. Бѣгъ. Торжество. – Кутила покупаетъ, раззорился, опаиваетъ. Барышникъ. Я и такъ стараюсь – бьютъ. Къ старушкѣ. Въ церковь – тихая жизнь. Умерла.

5.

<Севастополь.> Венгерская война, раны. Трусость и храбрость. Зависть <къ верховымъ> и презрѣнье. Офицеръ. Окормился пшеницей. Въ деревню. Продали (огороднику) краснорядцу. Захромаль. Не виновать. Мужуку. Выкормиль. Я васъ. видѣль. Помѣщику. Жизнь тутъ. –

Пьяный Васька за водкой. Худоба, короста. Просятъ купить. Нѣтъ собакамъ, и покупаю. Всѣ грустны. Бурую кобылку случать. Въ тотъ же день. Шарахаются около ободраннаго.

Как видно, конспект этот очень схож с написанной повестью – за исключением одного пункта: после старушки Холстомер должен был еще попасть на войну (1848 г.).

В Дневнике, кроме приведенных выше записей, нет больше никаких упоминаний о работе над «Холстомером». В письме к Фету (повидимому, в апреле 1863 г.) Толстой, между прочим, сообщал: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Однако далее следует: «Впрочем теперь как писать? теперь незримы усилия даже зримые, и притом я в юхванстве опять по уши». (А. Фет, «Мои воспоминания», ч. I. М. 1890, стр. 418). Надо полагать, что «Холстомер» был вакончен только в 1864 г.

После неудачной попытки напечатать эту повесть в журнале (в каком – точно неизвестно, но есть основания предполагать, что в несостоявшемся журнале М. Погодина «Старовер», о чем см. в истории печатания) и отзыва В. А. Сологуба (см. его письмо в книге «Письма Толстого и к Толстому», Юбилейный сборник, М. 1928, стр. 260 – 262)

рукопись была положена в стол, где и лежала до 1885 г. В этом году С. А. Толстая, издавая собрание сочинений Толстого, включила повесть в третий том. Как видно по самым рукописям (см. Описание рукописей), Толстой в 1885 г. дал заново переписать ту часть прежней рукописи, в которую он внес много изменений, и написал новый конец (№ 2–в). В переписке участвовал сын А. А. Стаховича, М. А. Стахович. Заглавие повести было «Хлыстомърь». А. Стахович вспоминает: «Я послал с сыном исправленное название «Холстомер» и специальные сведения о нем и о Хреновой 1803. года. Мой сын рассказывал мне, как при нем заканчивая и отделявая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазий... Когда Толстой писал смерть «Холстомера», мой сын стоял за его стулом и с восторгом следил, как ложились на бумагу чудные строки; а гениальный писатель с улыбкой говорил: «вот вам петушок, еще петушок». Отметим кстати, что в этом финале повести, как он переписан рукой М. А. Стаховича, есть некоторые отличия от автографа. Так, например, слов: « – Тоже лошадь была, – сказал Васька» в автографе нет, они появились прямо в копии. Возможно, значит, что финал этот был продиктован или что изменения эти были внесены устно.

ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ.

До последнего времени считалось, что, написав «Холстомера», Толстой решил не печатать его; но недавно опубликованное письмо В. А. Соллогуба, содержащее в себе отзыв о «Холстомере» («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», ГИЗ, М. 1928, стр. 260), показывает, что дело было не совсем так. Соллогуб советует Толстому переделать повесть, находя ее в таком виде слишком грубой и даже циничной («Предоставьте это Писемскому. Цинизм его атмосфера» и т. д.). Письмо кончается словами: «Пишу вам официально еще от редакции». Последние слова не оставляют сомнений, что «Холстомер» был передан Толстым, через Соллогуба, в редакцию какого-то журнала, в котором Соллогуб принимал ближайшее участие. Какой это был журнал? В письме Соллогуба нет никаких на это указаний.

Письмо датировано 20 марта, но без года. Редактор (Л. Бухгейм) датирует его предположительно 1863 годом. Однако эту датировку следует признать ошибочной. В Дневнике Толстого 3 марта 1863 г. записано: «Мерин не пишется». По дальнейшим записям видно, что Толстой занялся хозяйством и бросил писание (11 апреля 1863 г.: «Мы во всем разгаре хозяйства»), а потом взялся за работу над «Декабристами». Сопоставление этих фактов приводит к мысли, что «Холстомер» был закончен не весной 1863 г., а позднее. Если это так, то письмо Соллогуба можно датировать не 1863, а 1865-ым годом. При такой датировке является возможность высказать догадку и относительно журнала.

В 1865 г. М. П. Погодин вместе с В. А. Соллогубом затеяли издавать журнал. 9 июня 1865 г. Погодин писал П. А. Вяземскому: «Мы затеваем журнал с Соллогубом, который собирается работать: Старовер. Ведь грустно смотреть на нынешнее пренебрежение литературы. Надо восстановить предание». («Старина и новизна», книга 4-я, 1901, стр. 77.) Сообщение это было, вероятно, сделано уже тогда, когда вся подготовительная работа по организации журнала была окончена. Вполне возможно, значит, что Толстой, именно в это время подружившийся с Погодиным (см. его письма к Погодину в журнале «На литературном посту», 1929, № 10, стр. 65) и очень сочувствовавший его взглядам, решил предложить «Холстомера» в этот самый журнал. Это могло быть сделано в начале 1865 г. (Вместо журнала в 1866 г. вышел сборник «Утро».) Оставшийся тогда ненапечатанным «Холстомер» лежал в столе до 1885 г., – когда С. А. Толстая, издававшая «Собрание сочинений» (5-е издание), включила в него и эту повесть. В переработанном виде повесть появилась в т. III пятого издания (1886 г., стр. 503–553), с посвящением памяти М. А. Стаховича.

Как видно из воспоминаний А. К. Чертковой («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», ГИЗ. 1928, стр. 157), корректуру повести читала С. А. Толстая: «Вот у меня как раз лежит корректура... Я ведь сама всё делаю... Вы умеете править корректуру? Да? Так вот не хотите ли мне помочь немножко. – Ах, пожалуйста! – с восторгом откликнулась я. Графиня встала и, взяв с другого стола пачку бумаг, вернувшись на свое место, подавая мне корректурные гранки, раскрывает перед собою тетрадку. Это оказывается повесть «Холстомер». Я пожалела, что мне пришлось читать не сначала (первые гранки были уже проверены), и мы начали с середины какой-то главы... С трепетным волнением я стала читать. Софья Андреевна следила по тетрадке, изредка останавливая меня для внесения поправок в корректуру».

Итак, всё дело печатания, включая чтение корректур «Холстомера», было в руках С. А. Толстой. Понятно, что при таком положении не только остались неисправленными те ошибки, которые были сделаны при переписке, но и прибавились новые. В дальнейших изданиях количество ошибок, конечно, не уменьшилось, а увеличилось. Таким образом, при сверке печатного текста «Холстомера» с автографом количество ошибок всякого рода (пропуски, неверно разобранные слова, нивелировка языка и пр.) оказалось очень солидным.

В настоящем издании все эти ошибки исправлены. Главные из этих исправлений следующие:

Стр. 3, строки 11–12. В изд. 1886 г.: «сказал старый табунщик, быстро отворяя». В автографе: «сказал старый табунщик Нестер отворяя». Слово «быстро» – неверно разобранный «Нестер». Эта ошибка повлекла за собой ряд изменений и перестановок, сделанных Толстым (не сверявшим копии с автографом и потому не заметившим ошибки) в копии и не позволяющих вернуться к автографу. Пришлось прибегнуть к конъектуре: удалить, по крайней мере, совершенно чужое, в автографе несуществующее и совсем не соответствующее характеру и возрасту старого табунщика слово «быстро».

Стр. 6, строка 33. В изд. 1886 г.: «встряхнул». В автографе сначала было: «встряхнул замочившейся гривой»: потом слово «встряхнул» исправлено на «отряхнул», а слова: «замочившейся гривой» заменены словом «голову». С. А. Толстая переписала неверно: «стряхнул голову»; Толстой прибавил в копии букву «в». Мы возвращаемся к автографу.

Стр. 8, строка 20. Слова: «кое-где, около болотца, и над лесом» пропущены в копии и отсутствовали в печати.

Стр. 8, строки 37–38. Слова «который дрожа» кончая: «как» пропущены в копии и отсутствовали в печати; после слова «сосунчика» в копии произвольно появилось несуществующее в автографе слово: «молодая», а слово «атласная» написано с большой буквы – как название лошади. Мы берем по автографу.

Стр. 9, строка 37. В автографе первоначально было: «и иногда всфыркнув и подняв», потом «всфыркнув» изменено на «всхрапнув», в копии ошибочно: «встрепенув», вычеркнутое Толстым. Мы возвращаемся к автографу.

Стр. 20 строка 31. После слова: «проходили» в рукописи № 1–в (л. 12) следует: Есть люди, которые называют других людей своими, а эти свои люди – сильнѣе, здоровѣе и досужнѣе хозяевъ. Есть мужчины, которые женщинъ называют своими, а женщины эти живутъ съ другими мужчинами. В копии № 3, л. 11 об. (С. А. Толстой) пропущены все слова, стоящие между повторением «которые», так что получилось: «Есть люди, которые женщин называют» и т. д. Толстой написал на полях новую вставку, которая и пошла в печать.

Стр. 21, строка 21. Фраза: «Они скрянчили мне губу» пропущена в копии и отсутствовала в печати.

Стр. 21, строки 22–24. Слова: «они надели» кончая: «не бил задом» вписаны рукой М. Стаховича на полях рукописи № 4. Его же рукой ниже слово «ход» (у Толстого было: «хвалили мою ѣзду»).

Стр. 22, строка 29. Вместо слова: «Решили» в копии (М. Стаховича) и в печати ошибочно: «Генерал просил». Стахович принял букву «Р» за букву «Г» (с точкой), а «ѣшили» прочитал как «просил». Мы берем по автографу.

Стр. 23, строка 27. Слова: «его жестокость» были пропущены в копии и отсутствовали в печати.

Стр. 24, строки 39–40. В автографе написано: съ задомъ шире Х-ова, т. е. Х[олстомѣр]ова; С. А. Толстая не поняла сокращения и после слова «шире» оставила свободное место, а М. Стахович поставил вопросительный знак. Толстой в 1885 г. вписал слово плечъ. Так как в новой редакции рассказ ведется от лица самого Холстомера, то оставляем эту позднейшую поправку.

Стр. 26, строка 3. Вместо: «плохих» в копии (и в печати) было ошибочно: «тихих».

Стр. 30, строка 32. Слово: «неуловимым» было пропущено в копии и отсутствовало в печати.

Стр. 32, строка 10. Вместо: «обрызгшем» в копии (и в печати) было ошибочно «брызглом».

Стр. 32, строка 22. Вместо: «замолчал» в копии (и в печати) было ошибочно «засмеялся».

Стр. 35, строка 30. Слова: «стал точить [о] брусок» пропущены в копии и отсутствовали в печати; в автографе – «стал точить брусок», мы вставляем «о».

Стр. 36, строки 10–11. Слова «стала склоняться шея потом» пропущены в копии и отсутствовали в печати.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.

Рукописи «Холстомера» хранятся в Архиве Толстого во Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина и в рукописном отделении Государственного Толстовского музея в Москве. Состав их следующий:

№ 1. Первая редакция повести, написанная в 1863 г.

а) Автограф, 12 лл. писчей бумаги (сложенные в 1/4 л.), с пробитыми машинкой двумя круглыми отверстиями у сгиба (вверху и внизу). Текст на обеих сторонах.

Л. 1 начинается зачеркнутым текстом (Начиная со слов: «съ уходящаго Васьки», кончая: «Между тѣмъ», см. вар. № 1, стр. 477); после вычерка рукой Толстого написано заглавие «Хлыстомѣрь», «Глава I» и следует начало повести: «Все выше и выше поднималось небо» и т. д. Текст кончается словами: «до самага дома», после чего зачеркнуто несколько страниц (см. вар. № 2, стр. 477)

б) Автограф, 2 лл. писчей бумаги 40. Текст на лл. 1, 1 об. и 2, с полями. Начало: «Къ Вестеру приѣхали кумовья», конец: «стальъ разскаывать исторію своей жизни». Это – непосредственное продолжение текста предыдущего автографа.

в) Копия, сделанная неизвестной писарской рукой, с несколькими поправками рукой Толстого. 18 лл. писчей бумаги 4°. Текст на обеих сторонах; начало: «Когда я родился», конец: «приходили смотрѣть на меня». Л. 17 об. и л. 18 покрыты автографом, очень черновым; начало: «Жеребцовъ моихъ братьевъ», конец: «трудъ до конца моей жизни».

Автограф, с которого снята эта копия, не сохранился.

г) Автограф, 2 лл. писчей бумаги 4°. Текст на лл. 1, 1 об. и начало л. 2; начинается словами: «Жулдыба подходя къ дому», конец: «я тѣмъ буду счастливѣе» Перед текстом – знак (крест), обозначающий вставку.

Это – вставка к л. 18 предыдущей рукописи, где имеется соответствующий знак.

д) Автограф. 4 лл. писчей бумаги 4°. Текст на обеих сторонах, с полями; начало: «Много и горя», конец: «ему говорить не долго жить».

Во всей рукописи 38 листов. Хранится в АТБ.

№ 2. Дополнительные к рукописи № 1 автографы:

а) 2 лл. писчей бумаги *in folio*. Текст на обеих сторонах, с большими полями. Начало: «На варкѣ было грустно». Конец: «и все съ Х. кончилось». Пагинация карандашом: цифры 8 и 9. На поле л. 1 рукой Толстого написано: «Одинъ материализмъ – тщеславіе, рады показать Серпуховскому. Она не беременна.

Тут же карандашом детской рукой: «Лѣвъ Нико». На поле л. 2 карандашная пометка «д.с.п.» и соответственный отчерк в тексте после слова: «упавший».

Этот автограф относится тоже к 1863 г.

б) Обрывок полулиста писчей бумаги. Текст только на лицевой стороне. Начало: «Помню выѣхаль я разъ» конец: «денегъ было мало въ кошелькѣ на столѣ». Пагинация карандашом: цифра 4.

Относится тоже к 1863 г.

в) Сложенный пополам почтовый лист большого формата. Начало: «удивился. Все такъ ново стало».

Это – позднейшая (1885 г.) переработка конца повести.

Из перечисленных автографов первые два хранятся в АТБ, а третий в ГТМ.

№ 3. Копия, с многочисленными изменениями и вставками, сделанными рукой Толстого в 1885 году. 38 лл. писчей бумаги в 1/4 л., из которых лл. 1–32 и 36–37 написаны рукой С. А. Толстой, а лл. 33–35 – рукой М. А. Стаховича (племянника того М. А. Стаховича, памяти которого посвящена повесть). Лист 38 – автограф. На обложке рукой С. А. Толстой написано: «История лошади, переписанная отрывками по поправленному».

Это – отдельные куски, заново переписанные в следующей копии и потому изъятые из нее. Листы 1–8 и 14–30 относятся к 1863 г., остальные (синими чернилами, на более белой бумаге) – к 1885 г.

Хранится в АТБ.

№ 4. Полный текст новой редакции – копия с изменениями и вставками рукой Толстого, сделанными в 1885 году. 60 л. писчей бумаги в 1/4 л. Пагинация – наверху чернилами, внизу – карандашом (1–60). На полях каждой страницы знак «Ч», связанный, повидимому с набором.

С этой рукописи набирался текст повести в издании 1885 г. Листы 1–31, 35, 42–43, 48–57 написаны рукой С. А. Толстой, остальные – рукой М. А. Стаховича. Листы 1–22 и 48–49 относятся к 1863 г., остальные (синими и лиловыми чернилами) – к 1885 г. Копия сделана частью с рукописей № 1 и № 2, частью с листов промежуточной копии (№ 3).

На л. 1 первоначальное заглавие (рукой С. А. Толстой): «Хлыстомер. (Опыт фантастического рода). 18...» В слове «Хлыстомер» буквы «лы» исправлены на «ол». Подзаголовок зачеркнут рукой Толстого и вместо него им же написано: «Посвящается памяти М. А. Стаховича¹». Внизу его же рукой сделана сноска: «(1) Сюжет этотъ былъ задуманъ М. А. Стаховичемъ, авторомъ Ночного, и переданъ автору его братом А. А. Стаховичемъ». «Рукой С. А. Толстой после «и» вписано «Наездники», вставлено второе «и» после слова «Наездники», и вычеркнуты слова «его братом». К цифрам «18...» рукой С. А. Толстой приписано: «61 года».

На л. 19 на поле написано рукой Толстого распоряжение для типографии: «Вездѣ ночь вмѣсто вечеръ».

Под текстом подпись «Лев Толстой» рукой М. А. Стаховича.

Хранится в АТБ.

№ 5. Автографы, не вошедшие в текст повести и не переписанные в копии:

а) 1 л. писчей бумаги в 1/4 л., начало: «Туть все продали и я поपालъ» (см. вариант № 17, вторая часть, стр. 483–484). Перед текстом стоит знак (крест) относящий этот автограф к л. 37 об. рукописи № 1 (после слов: «Все пошло въ разладъ»). Относится к 1863 г.

б) 2 лл. писчей бумаги 4°, с пробитыми машинкой двумя круглыми отверстиями на сгибе (вверху и внизу). На л. 1 конспект повести, а на л. 2 и 2 об. планы винокуренного завода, нарисованные рукой Толстого (см. в «Истории писания», стр. 658–659). Относится к 1863 г.

Хранится в АТБ.

Рукописные варианты повести «Холстомер» заимствованы из следующих рукописей.

Вариант № 1. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, а), который начинается, словами «съ уходящаго Васьки», продолжающими текст предыдущего листа (не сохранившегося). Так начиналась повесть в первой редакции. Всё, кончая словами: «Между тѣмъ», перечеркнуто; над словами: «всё выше и выше» написано: Глава I, а над этим заглавие: Хлыстомеръ.

Варианты № 2 и № 2-а. Вариант № 2 находится в автографе 1863 г. (№ 1, а), после слов: «не проявилъ своихъ размышлений до самаго дома» (см. в главе IV печатного текста, стр. 12). Здесь же перечеркнуто. Вариант № 2а заменяет собой текст варианта № 2 со слов: «Что взялъ, старая дрянь» кончая словами: «около старого мерина». Вычеркнуто здесь же.

Вариант № 3. Находится в автографе 1863 г. (№ 1,б), после слов: «новое и необыкновенное они узнали отъ него» (см. в V главе печатного текста, стр. 13). Вычеркнуто здесь же.

Вариант № 4. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) после слов: «что меня называли собственностью челоуѣка» (см. в главе VI печатного текста, стр. 19). Вычеркнуто в рукописи № 3, где по ошибке переписчика (С. А. Толстой) пропущено со слов: «Я понимаю» кончая: «моя лошадь».

Вариант № 5. Находится в копии 1863 г. (№ 1,в) после слов: «даже про землю, про людей и про лошадей» (см. в главе VI печатного текста, стр. 20). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 6. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) после слов: «но это оказалось несправедливыми (см. в главе VI печатного текста, стр. 20). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 7. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в). Изменено и часть вычеркнуто в рукописи № 3 (ср. в главе VI печатного текста фразу: «Челоуѣкъ говорить: «домъ мой», и никогда нежить въ немъ»), Переписчик (С. А. Толстая) ошибочно написала вместо слова «благосостоянню» слово: «благополучию».

Вариант № 8. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) после слов: «стоимъ въ лѣстницѣ живыхъ существъ выше, чѣмъ люди» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 9. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) после слов: «глубокомысленнымъ меринимъ, которымъ я есмь» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 10. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в). Частью изменено, частью вычеркнуто в рукописи № 3 (ср. в главе VI печатного текста абзац, начало: «Послѣдствій того»,... конец: «раньше запрягли», стр. 21).

Вариант № 11. Находится в копии 1863 г. (№ 1,в) после слов: «въ Чесменку и другіе хутора» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Изменено в рукописи № 3. вычеркнуто там же.

Вариант № 12. Находится в копии 1863 г. после слов: «у старушки, жившей у Николы Явленнаго» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 13. Находится в копии 1863 г. после слов: «я тѣмъ буду

счастливые» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 4.

Вариант № 14. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после слов: «за 800 р. продай меня конюшій» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 15. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после слов: «прикладывая ухо, щелкаль зубами» (см. главу VIII печатного текста, стр. 24). Изменено в рукописи № 3, вычеркнуто в рукописи № 4

Вариант № 16. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после слов: «такъ никого и не задавили» (см. главу VIII печатного текста, стр. 24). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 17. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после слов: «летим каждый въ свою сторону» (см. главу VIII печатного текста, стр. 26). Первая фраза вычеркнута в рукописи № 3; остальное вычеркнуто и заменено другим текстом в рукописи № 3.

Вариант № 18. Находится в рукописи № 3 (автограф). Переписано и заменено другим текстом в той же рукописи (ср. в главе VIII печатного текста, абзац, начало: «— Счастливая жизнь моя» конецъ: «выѣхать въ кругъ»}.

Вариант № 19. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, г). Вычеркнуто и заменено другим текстом в рукописи № 3 (ср. в главе IX печатного текста, стр. 28, со слов: «Гость похвалиль» кончая: «какъ будто сконфузился, оборвалъ»).

Вариант № 20. Находится в рукописи № 3 (переделка предыдущего). Вновь переделано в той же рукописи (ср. печатный текст, указанный в предыдущем варианте).

Вариант № 21. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а) после слов: «и содержать самую дорогую» (см. главу X печатного текста, стр. 29). Вычеркнуто в рукописи № 4.

Вариант № 22. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 4 (ср. в главе X печатного текста, стр. 30, со слов: «Онъ былъ одѣтъ» кончая: «подошвахъ».).

Вариант № 23. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 4 (ср. в главе X, стр. 30, со слов: «и переносили» кончая: «завидовать»).

Вариант № 24. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 3, и в рукописи № 4 (ср. в главе X печатного текста, стр. 31, со слов: «Онъ взяль сигару» кончая: «своей красивой доброй улыбкой»). По ошибке переписчика (С. А. Толстой) фразы со слов: «Она знала его» кончая: «и его» пропущены.

Вариант № 25. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а) после слов: «продолжать начатый разговор» (см. главу X печатного текста, стр.

31). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 26. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Вычеркнуто и заменено новым текстом в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 32, со слов: «— Онъ прогорѣль» кончая: «не робѣя».).

Вариант № 27. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 33, со слов: «Хозяину было скучно» кончая: «ты не могъ знать».).

Вариант № 28. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, б) после слов: «Да вотъ не обѣгаетъ» (см. главу XI печатного текста, стр. 34). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 29. Находится в автографе 1863 г. (№ 2а, б). Переделано в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 34 – 35, со слов: «Серпуховскій лежалъ нераздѣтый» кончая: «старости».).

Вариант № 30. Находится в автографе 1863 г. (№ 2а, б). Переделано в рукописи № 3, и заново – в автографе № 2, в (конец повести).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

В состав настоящего тома входят художественные произведения, над которыми Толстой работал в период времени с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», законченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 году. Пять печатающихся здесь произведений Толстого представляют собой неотделанные и незаконченные им наброски, из которых четыре (драматическая обработка легенды об Аггее, «Жил в селе человек – звать его Николай»; «Миташа» и статья «Благо только для всех») были опубликованы после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь» публикуется впервые в настоящем издании. Помимо неопубликованных доселе вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том произведений, здесь печатается целиком самая ранняя черновая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впервые также исправления, сделанные Толстым в печатном экземпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значительных вариантов дается к статье «Николай Палкин».

Работу по составлению алфавитного указателя произвел В. С. Мишин.

П. В. Булычев

Л. П. Гроссман

Н. К. Гудзий

А. И. Никифоров

Б. М. Эйхенбаум

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех тех случаях, где они употребляются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев,

когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: «Абзац редактора».

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого, –

что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Иллюстрации

Фототипия портрета Толстого раб. И. Е. Репина – между XII и 1-й страницами.

Автотипия со страницы черновой рукописи рассказа «Холстомер» 1885 г. – между 486 и 487 страницами.

Примечания

1

Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники» и передан автору А. А. Стаховичем.

2

[с инкрустацией].

3

[принесите еще ящик, там два.]

4

Зачеркнуто: еще разъ

5

Зачеркнуто: вниманье

6

Зач.: дышанье

7

Над словом: слезы надписано слово: грусть.

8

Зачеркнуто: свѣтъ.

9

Зачеркнуто: страшно

10

Зач.: этой <животной> <людской> слабости

11

Зачеркнуто: раскаяніе в том, что сдѣлали со мной другіе,

12

Зач.: бѣжалъ въ 2 мин.

13

Зач.: А что твой пѣгашка бѣжить. ѣдетъ В. Ну, пусти, пусти. <Онъ> Я обѣжалъ. Ген[ераль] разсердился. Нужно продать, сказалъ кон[юшій] и продалъ меня за 800 р. тогда на ассигнаціи. Купилъ его Гусарской офицеръ, у котораго былъ старый кучеръ изъ дворовыхъ. Кучеръ былъ пьяница, офицеръ былъ охотникъ.

14

Зач.: слѣдующій

15

Первоначально было: моего скитанья.

16

Зачеркнуто: гусара была

17

Зач.: въ него влюблены

18

Зач.: не вырветь глаза.

19

Зач.: его

20

Зач.: сърый <Лебедь>, Горностаи

21

Зачеркнуто: Вязопурь

22

Зач.: Лебедь Горностаи

23

Зач.: звонку

24

Поправка М. А. Стаховича.

25

Поправка М. А. Стаховича.

26

Зач.: эти минуты

27

Поправка М. А. Стаховича.

28

Зач.: объжить

Поправка М. А. Стаховича

29

Зач.: Х.

30

Зач.: Лебедемь Горностаемь

31

Поправка М. А. Стаховича.

32

Зач.: на кругахъ взглядывалъ Х. пришель

33

Зач.: Я объѣхалъ и пришель на двѣ лошади впередъ

34

Зач.: и этимъ погубилъ меня. Князю не повезло. Онъ выигралъ вышелъ въ кабриолеть, съ мѣшкомъ серебра. Пойдемъ еще. Пошли. Стали играть, все проигралъ. Х. цѣлый день не ѣлъ. На другой день любовница

уѣхала съ другимъ. Князь поскакалъ на Хлыстомѣрѣ и не догналъ. Все пошло въ разладъ. Его опоили, приѣхавъ домой.

35

Зачеркнуто: Он лежитъ. – Вытащить его.

36

Зач.: Эта, – презрительно и грустно сказалъ гость. – Это лучшая лошадь въ Россіи. Это Хлыстомѣрѣ. Мой Хлыстомѣрѣ.

37

Зачеркнуто: <люди и> четы

38

Зач.: <дѣло въ томъ, что люди, про которыхъ я рассказываю> тѣ два
человѣка, онъ и она, которые сидѣли

39

Зач.: добръ от счастья

40

Зач.: мужа

41

Зач.: жены

42

Зач.: пальто

43

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ – Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

АЧ – Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV – П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I – М. 1923; II – М. 1923; III – М. 1922; IV – М. 1923;

БИР. 1913 – «Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I – XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ – Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ – Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ – Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ – Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ – «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862–1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПб 1914;

ПТ – «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПб 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 – М. 1910, 2 – М. 1911;

ПТСО – «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 – «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 – «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники: 1 – М. 1924, 2 – М. 1926, 3 – М. 1927, 4 – М. 1928.
